

МИХАИЛ МАЯЦКИЙ

ЕвропаМинус

Удивительно и вчуже обидно, как сузилась тема. Раньше при слове «Европа» возникали ассоциации разнообразные и богатые. Витражи и фризмы, фуги и жиги, пантеоны и рейхстаги, вердены и фермопилы, хейзинги и варбурги. Теперь же — или это я старею? — с «Европой» связываются преимущественно Шенген, евро и Берлускони.

Итак, Европа. Уже не как культурная Вселенная, не как соблазнительница Зевса, не как топос бесчисленных топологий, не как прибежище бытия и ничто, а всего лишь как вот этот узенький политический проектец.

Но не слишком ли широк и он, чтобы о нем пытаться сказать так кратко и нахрапом? Можно ли говорить об этой вот Европе и по-русски, и «объективно»? Уточним вопрос: можно ли говорить о Европе, не желая ей успеха и не накликавая провал, не плача, не смеясь, но и, конечно, понимая, что ничего не понимаешь? Можно ли следить за игрой под названием «Европа», не болея за ту или иную команду и уж вовсе не печась о роли и месте России в игре или хотя бы рядом с игрой, на трибунах, а также о куске пирога, который ей положен или желателен в перерыве? И даже не думая о степени репрезентативности той части сцены, арены или ринга, которую Россия может смутно разглядеть со своей камчатки. Трудность этого разговора в том, что надо понять и принять, что всякая, включая данную, речь по-русски о Европе, об этой новой, единой Европе, — это просто шушукание на галерке, к действию не относящееся.

Итак, «Европа» — игра, а не субъект. Не субъект, и поэтому лично у меня вызывает глубокое подозрение всякое предложение с «Европой» на месте подлежащего. Таких, однако, будет немало и в этих заметках: читатели, будьте бдительны!

Игра, прежде всего, между «евро-оптимистами» и «евро-пессимистами». Первые обвиняют вторых, что если Европа получается не так, как хотелось бы, так это из-за них. Вторые обвиняют первых в том, что те выдают свой оптимизм за реальную картину, и что Европа ведет существование чисто дискурсивное, а то и симулякрное. С галерки чувствуется полифоничная правда обеих сторон. От евро-пессимизма следовало бы отличать евро-скептицизм. Один считает, что объединение не пойдет государствам и гражданам на пользу. Другой не верит, что Европа состоится, т. е. верит в Европу как идею, но не в ее осуществление. Подлинно критическим этот подход считать не приходится, т. к. он полагает преимущественно, что Европа ни-

когда не сможет стать наднациональным аналогом национального государства. Однако этот аргумент бьет просто мимо, ибо исходит из единственности нацгосмодели.

Игра эта и стара, и нова. Теологу понятна новозаветная инспирация единой Европы, равенство перед богом и бездной, будь ты эллин, варвар, иудей или гой. Историк ясна преемственность со Священной римской империей германской нации, с Каролингами, с Римской империей. К началу XX века единая Европа из политической ставки стала *идеей*: она стала исполнять роль идеала, вербовать идеалистов, нуждаться в идеологии. Было сказано, что, чтобы построить Европу как единство, нужно сплочение вокруг ценностей, нужен энтузиазм и безумие в блоке против узконационального и узколобного расчета. С тех пор идея Европы успела вырасти, стать взрослой, перерасти детские болезни и юношеский максимализм. И — перестала быть идеей. Сегодняшняя Европа и не заикается о своем идеализме, зато, повзрослому мудро обходя политнекорректные рифы, утверждает свои *ценности*. Но более или менее всем ясно, что не идея овладела европейской массой, а убежденность в практической выгоде объединения. Не в обиду будет сказано евромечтателям прошлого, если не единственный, то основной смысл нового (т. е. пост-Мауег, постгорбачевского) европейского объединительного проекта — чисто экономический. Из наших же современников никто и не обидится: политромантика не в моде, и аргументировать сегодня от общности ценностей выглядело бы сегодня и неубедительно, и подозрительно (что это за общность? христианство, что ли?). Напротив, честные признают открыто, а благонамеренные — нехотя и вскользь, что современный проект Европы направлен если не прямо против США, то по крайней мере против их экономической и политической гегемонии в условиях, когда Советы ушли в отставку и оставили мир на произвол одного «доминирующего полюса»? Нужно снабдить мир вторым полюсом! И если этот полюс европейский, почему бы и нет? Чем он хуже советского, китайского, исламского? Кажется, ничем, кроме того, что заведомо соглашается на соревнование на условиях соперника. Ибо сам критерий состязания — эффективность — все же остается американским. Не так-то просто сочинить европейскую скрижаль, отличную от американской. Ибо Америка — это и есть Европа. Вот скажи «Европа», так и получится: «Америка».

Если вспомнить, как выпренне и патетично писали о моральной миссии единой Европы Эдмунд Гуссерль или Жюльен Бенда каких-нибудь три четверти века тому назад, то сравнение с прозой конкурентной гонки против Америки наведет на размышления довольно грустные. История, может, и не кончается, но изрядно матерееет и жлобеет. Поэтому не приходится всерьез критиковать какие-то европейские *принципы, положения, тезисы*. Почитайте на досуге хоть Преамбулу к Европейской конституции, которая скоро будет лежать в каждой районной библиотеке. Анонимно-коллективный автор этого текста, прошедшего, надо полагать, через сотни корректур, многократно сам себе высек. Хотел, наверное, из гранита, но получилось розгами.

Конечно, идеалистический европейский дискурс продолжает производиться, от политиков до интеллектуалов ранга Цветана Тодорова, и никак не меньше, чем в довоенный период эфемерных грез о Pax Europaea. Но се-

годня этой дискурсивной индустрии все труднее саму себя обманывать. Сами европейские организмы пока производят впечатление еще более безличное и анонимное, чем госаппарат. Но самое скверное — это то, что они оказываются де факто стоящими вне критики. Голос интеллектуала слышен все еще только на своем языке и в своей стране. «Европейский интеллектуал» — это пока еще не новое качество, а просто собирательный термин для разных национальных интеллектуалов. За европейскими законами, нормами, реформами и прочими актами стоит пока не больше, а меньше мысли, чем за национально-государственными. Пока что любая критика Европы воспринимается как евро-пессимизм, тогда как это столь же абсурдно и пагубно, как считать любую политическую критику проявлением анархизма. Пока же — на фоне удручающего теоретического упадка левых — всем возможным в государственных пределах критическим инстанциям затыкают рот простой ссылкой на «европейские нормативы»: «Это не мы придумали, это Европа от нас требует» — самая частая отбойка во внутривнутриполитических дискуссиях. При этом критика Европы не просто имеется, но даже как бы и в моде, стала общим местом. «Мне, конечно, не все нравится в Европе, но...» — вот прекрасная фраза, чтобы поддержать беседу в любом обществе. Критика стала столь же интенсивной, сколь и бесплодной, столь же повсеместной, сколь и бездумной. Она вдохновляется неизменно точкой отсчета государственной, да и ее объект, сама Европа, мыслит себя непременно в терминах надгосударственных, тогда как экономически уже давно не государства, а наднациональные корпорации являются главными действующими лицами происходящего (но про это, впрочем, и у Ленина хорошо сказано).

Если раньше европейские колониальные державы насаждали в колониях идеологию национального государства, еще молодую и полную сил в тогдашней Европе, как единственно возможную для самоидентификации, то делали они это как бы бессознательно. Теперь, с высоты своего деколонизационного и иного опыта, они выработали некую эрзац-теорию «возрастов этноса»: дескать, эпоха национальных государств — это юность, пылкая и романтическая, но преходящая, а вот европейское единение — это признак зрелости. Именно согласно этой теории, Европа уже в разгар новейшего объединения всячески поощряла освободительную деятельность, в частности, «юных» этносов на востоке (т. е. в СССР и в экс-СССР), сочувственно припоминая собственный относительно недавний разъединительный зуд, стоивший ей по меньшей мере двух мировых (т. е. европейских с пригородами) войн.

Европа без границ. Красиво. Но не нужно забывать, что понятие границы — глубоко европейское, а может быть и европейское по преимуществу. И хотя речь идет о Европе без *границ*, но отнюдь не без *границы*. Став механизмом объединения, Европа осталась машиной исключения. Оставь надежду, всяк сюда не входящий. Мотив привилегированности, избранничества проникает новую европейскую идеологию, смешивается с ценностями, на которых так любят настаивать некоторые болельщики Европы: с эгалитаризмом, с уважением к другому, со стыдом за обособление. Но как и век назад, во времена веберовского анализа «духа капитализма», противоречия сгибаются в порочно-прочный круг: избранность подтверждает уверенность в спасении, составляющую содержание избранности. Разумеется, мир не смо-

жет стать «миром европейцев». Но это только доказывает европейскую (и американскую) богоизбранность.

Естественно, европейскому торговцу, туристу, бродяге, студенту, ученому, художнику и свободно парящему интеллектуалу всегда была симпатична утопия мира (ну, пусть для начала одной Европы) без границ. Созерцателю ночного неба правомерно кажется абсурдной идея, обитая на крошечной планетке, разделить ее сотнями барьеров. К тому же произвольность большей их части более чем очевидна лингвисту, географу, этнографу. И вообще: перегородки не в моде. Мода на многокомнатные квартиры сменилась модой на лофты. Но «лишь бы не было войны»: если дорогостоящая новоевропейская бюрократия — цена за Европу без войн, и страны готовы эту цену платить, то почему бы и нет? Давайте поболеем за эту команду! Но не будем скрывать и издержки, и «побочный ущерб». Европа тешит себя идеей, что становится гуманнее, поворачивается к человеку и пр. Но при этом в каждой отдельно взятой европейской стране (беру только «старые» и только «развитые») совокупная ситуация развивается однозначно на ухудшение. Социальные проблемы нарастают, неравенство растет невиданными темпами, накапливаются и взаимоосложняются проблемы в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и экологии, транспорте, в положении «свободных профессий», в отношениях между конфессиями, между местными и приезжими и пр. Два этих дискурса разворачиваются на разных полосах газет и в противоречие стараются не вступать. Нас фактически пытаются убедить, что это как бы неполадки на местах, а вот в Европе-*в целом* все пусть еще не совсем совершенно, но *в принципе* замечательно. Но и без этой конфронтации с локальными (хотя и повсеместными) фактами, европейский дискурс тяжело прогибается под тяжестью противоречий. Европа, надо полагать, не без основания представляет себя носителем экологического сознания, но она, наряду с Америкой, является и наибольшим прямым или косвенным вредителем мировой окружающей среды. Она пытается все свалить на американского соперника-партнера, но факт остается фактом: Земля не смогла бы выдержать ни 7 миллиардов американцев, ни 7 миллиардов европейцев. Между тем скрытый (плохо скрытый) смысл новой Европы, вторяем, — конкурентная гонка с Америкой. Бедная экология!

Посмотрим на сферы, шушукателю-бурчателю этих строк чуть-чуть более знакомые: университет и философия.

Последние год-два большинство европейских университетов (кроме тех, которые, как некоторые французские, заняты преимущественно забастовочно-партизанской борьбой на кампусе) лихорадит: где грянул, а где еще грядет переход на новый единый статут общеевропейских «Болонских соглашений». Что это означает, ну просто ни одна живая душа не знает. Преподавателей просто забыли спросить до и проинформировать после. Кроме введения почему-то именно англо-американских титулов бакалавра-мастера и кроме пунктов, которые теперь надо будет коллекционировать, как бонусные фантики от конфет, никому не ясно, в чем состоит новая система, зачем и кому она нужна. Ректоры вынуждены произносить речи о «росте роли знаний в XXI веке», т. е. ни о чем, а профессора, которых поставили перед фактом, не сказав, в чем, собственно, факт состоит, судят-рядят на манер пикейных жи-

летов: студент начнет больше ездить, это вроде бы хорошо, но он будет еще меньше знать, это вроде бы плохо; университет превратится в школу, это вроде бы неплохо, студенту нужна школа, но тогда мы превратимся в школьных учителей, это, кажись, скверно и т. д. Кафедры кинулись придумывать свои «сильные стороны» и стали продавать себя на своих сайтах не хуже турагентств или фитнесовых салонов. Профессора не верят себе, поэтому тем более коллегам. Реклама окончательно заменила информацию. В общей атмосфере неопределенности и неизвестности реет, однако, нечто, всеми умалчиваемое, но всем известное: Болонья понадобилась, чтобы университет стал рентабельнее. Излишне уточнять, что никто не подверг понятие рентабельности применительно к университету ни анализу, ни критике. Все занялись внедрением Болоньи. А кто против Болоньи, тот уже не просто евро-пессимист; это утопленник, пускающий никому не заметные бульбы за бортом корабля современности. Но пусть читатель не думает, что Болонья *действительно* приведет к рентабельности, хороша она или плоха. Если никто толком не подумал, так неужто заподозрить, что кто-нибудь посчитал?

Что с философией? Иное и сходное. Сценарий оппозиции континентальной и англо-саксонской традиций можно, конечно, считать упрощенным или устаревшим, особенно после десятков попыток навести между ними так называемые «мосты». И между тем, при всех мостах различие между ними остается, несомненно, и далеко не преодоленным, и многообразным, и весьма взаимнопродуктивным. Но что же мы видим? Если новая Европа и ее дискурс как-то влияют на философию, то совершенно определенным образом: континентальная философия, которую, кстати, называли еще и «европейской», просто стала на глазах линять в англо-саксонскую, причем в ее, я бы сказал, провинциально-эпигонский извод. Дело кончится тем, что философы поймут друг друга. Взаимопонимание, мечта идиота, столь дорогая Европе, будет достигнуто, но зато чтобы заниматься философией, придется эмигрировать, ну, видимо, на Луну, что ли.

Но было бы совсем как-то смешно и несправедливо обвинять именно «Европу» во всех этих неприятных событиях или явлениях. «Европа» — это же, в конечном итоге, всего лишь слово, языковая игра, дискурс. Да, она перестала быть идеей, стала из категории идеалистической категорией экономической, но это сделало ее не вредной, а разве что не очень интересной. В ней стало меньше, над чем думать. Но от этого дойти до прямых обвинений и инсинуаций — это уж, извините, много чести. Лично я далек от того, чтобы дьяволизировать «Европу», и от меня читатель Пушкина никогда не дождется уж рифмы.